

## XXIII

...Воскресла моя умершая невеста... Зоя, Зоя, если бы ты могла заглянуть в мою измученную душу! Там только ты, одна ты, моя белая, чистая девушка, и безвыходный хаос страданий и позднего раскаяния... Ты сказала: «Что прошло, то неозвратно»... Ах, если бы так! Почему же твой образ неотступно стоит пред моими глазами и тоска по тебе не хочет отпустить меня на волю? И почему вернулся в душу трепет первых свиданий, и я жадно ищу, как прежде, случайных встреч с тобой?... Ах, теперь эти редкие встречи не дают мне ничего, кроме страдания. Зачем же я их ищу, ищу, ищу... Нет, что прошло, то возвратилось и снова, с еще более властной силой, захватило меня. Счастливая, для тебя оно — «неозвратно»... Ты смеешься над ним... И надо мною...

Я хотел бы уйти с головой, как раньше, в идейную работу, я стараюсь сделать это: усиленно пачкаюсь в гектографской краске, собираю нелегальную литературу, веду пропаганду среди товарищей... но... ты мешаешь мне, потому что не любишь... И я каждую минуту об этом думаю и каждую секунду это чувствую, и у меня опускаются руки, и кажется мне, что не стоит трудиться, пропадает пыл ненависти и потухает жажда подвига... Ах, если бы мы по-прежнему любили друг друга! Мы взяли бы за руки и пошли навстречу смерти без страха и колебаний, и наша любовь осветила бы дорогу многим другим... Перед веч-

ной разлукой на земле мы с тобой обменялись бы такими письмами, над которыми бы плакали в тишине ночи все живые и честные.

— Игнатович!

— А, здравствуйте, Геннадий!..

— Куда вы?

— В театр за билетами на «Евгения Онегина». Зоя тоже идет... Мы — целой компанией. Идемте, голубчик!

— Пожалуй... Впрочем, быть может, я буду лишним в вашей компании...

— Что вы, Господи помилуй! Вы знаете, как я уважаю вас...

— Вы-то так, да другие...

— А другим — все равно... Веселее!

— Не знаю, как ваша сожительница...

— Зоя? Вот пустяки!.. Какое ей дело? Приглашаю вас я... Я без вас не пойду!

Игнатович опять посмотрела на меня тем значительным взглядом, который давно уже пугает меня и... раздражает: я давно уже понял, что она питает слабость ко мне, но я... меня это только раздражает.

— Идемте, дорогой подумаю...

— Вы, кажется, равнодушны к моей сожительнице?.. Совершенно напрасно...

— Я... Нисколько!.. Почему вам так кажется?

— Не все то золото, что блестит... Наружность обманчива.

— Игнатович, я не пойду в театр!

— Не отпущу!.. Уверю вас, что мы обе — и я, и Зоя — будем очень рады. Мы обе вас... вам симпатизируем. Довольны? Руку!

Она крепко пожала мне руку и значительно посмотрела в глаза:

— А вы?

— Что — я?

— Кому из нас вы больше симпатизируете?

— Не знаю. Обоим одинаково.

— Значит, ни одной из нас...

— Почему такой вывод?

— Ребятишки, когда их спрашивают — кого больше любите, говорят: обоих одинаково. А это значит, что — никого...

— Я — не ребятишка, а потом...

— Что — потом?.. Сохранили вы ландыш, который я поднесла вам на студенческом балу?

— Ландыш?.. Да, я положил его в книгу, но за был, в какую...

— В любимую, по крайней мере?

— В «Философию права»...

— Как это понимать? Значение?

— Трудно это понять.

Так, перебрасываясь словами, мы дошли до театра. Я сказал несколько приятных фальшивых слов спутнице и, чувствуя, что не могу не идти сегодня в театр, зачем-то все упирался:

— А то уж идите без меня: я лучше почитаю Бокля...

— Я уже взяла билеты!.. Поздно!.. Галерка, у барьера... Идем!

Мы вышли из театра. Я сердился на Игнатович и на себя, но покорно шел за спутницей: ведь она живет в одной комнате с Зоей...

— Натe билет!.. Рядом со мной... Надеюсь, вы довольны своей соседкой?

— Конечно, конечно...

— То-то!.. А может быть, вам хочется — рядом с Зоей?..

— Одинаково приятно...

— Тогда я посажу вас между нами... и посмотрю, куда вас больше притягивает...

— Вероятно, я буду больше всего смотреть на сцену...

— Хотите к нам?.. Ко мне! Я вас приглашаю. Другим нет дела...

— Дела нет, но... я не люблю делать неприятностей другим. Не пойду.

— Ну, проводите меня!

— Могу.

— Впрочем, если это вам не доставит удовольствия...

— Доставит.

— В таком случае разрешаю... Давайте... под руку!.. Сколькожко. У меня — новые калоши. Насилу нашла: думала, потеряла...

— Что? Калоши?

— Перчатки!..

— А-а-а...

— Вы очень рассеяны. Влюблены? Да?

— Безнадёжно.

— В кого? Быть может, дело поправимо?

Опять пристальный значительный взгляд. Не выносимо. И все сношу без ропота, потому что Игнатович мне кажется теперь той ниточкой, за которую хватается утопающий...

— Ну, до скорого и приятного свидания!.. Сидим рядом. Я довольна.

— Да?.. Вы сильная: больно руку!

— Я люблю почувствовать пожатие. Не делайте вареной руки!.. Ну, вот так!..

Слава Богу, кончились мои муки... Кажется, она вполне убедилась, что именно в нее я влюблен и потому рассеян, смущен и грустен... Черт знает, как все это странно и глупо выходит... Эх, Зоя, Зоя!..

Лучше пораньше прийти и сесть на свое место, а то потом, когда Зоя будет сидеть уже, как-то труднее будет скрыть волнение, залезая меж ними на свое место. Пришел, когда еще зажигали люстры, и угрюмо и упорно засел в галерке, делая вид, что мне решительно все равно, кто бы ни сел рядом. Будто не знаю и не интересуюсь этим. Театр быстро наполнялся и оживал. Вокруг уже кишмя кишела публика, и я вздрагивал спиной всякий раз, когда позади разыскивали места... Уже грянула увертюра, когда я почувствовал позади шорох платьев и знакомый аромат духов. Не знаю, скрыла Игнатович от Зои о нашей встрече или нет, но Зоя страшно смутилась и покраснела, когда увидела, что я — рядом.

— Ах... вот как!.. и вы...

— Судьба! — прошептал я со вздохом, но кто-то сердитым басом произнес позади: «Прошу не болтать!» — и я замолк, усиленно впившись глазами на сцену. Я не знаю, видел ли я что-нибудь там, но грустная музыка оперы и нечаянные прикосновения к Зое уносили меня в небо, и я переставал моментами чувствовать, кто я, где я и что кругом меня происходит. Что-то шептала мне Игнатович, но я смотрел и не понимал.

— Би-нокль! Что с вами?!

Игнатович привалилась ко мне плечом, и я чувствовал, как ее кровь пригревала мне руку. Это мне было неприятно, но я боялся отодвинуться и нечаянно толкнуть Зою.

— Я вас не стесняю? — прошептала Игнатович и еще сильнее навалилась на мое плечо.

— Ничего...

— Прошу не болтать! — прогудел позади сердитый бас.

— Скажите, пожалуйста... Как страшно! — огрызнулась Игнатович.

Упал занавес, загорелись люстры в зрительном зале, и я очнулся от сладостной истомы. Очнулся и почувствовал ужасную неловкость. Надо заговорить с Зоей. Как и о чем? Мельком взглянул в ее сторону: сидит неподвижно, с опущенными ресницами. Боже, как она прекрасна! Она стала еще лучше. Одна золотая коса лежит на груди, а другая за спиной. Подняла голову, вскинула ресницы и слегка улыбнулась...

— Вот и встретились!..

Сказала так просто и взглянула так ласково, словно ничего не случилось и все было по-старому.

— Я так давно искал...

— Что вы говорите там? — вмешалась Игнатович.

— Не верю! — сказала Зоя, и лицо ее вдруг потускнело, и ресницы опустились и бросили тень под глазами.

— Чему не верите? — спросила Игнатович.

— Что Татьяна любила Евгения Онегина, — недовольно бросила Зоя и отвернулась, предоставив нас друг другу.

— Вот тебе раз! — с досадой заговорила Игнатович и, теребя меня за руку, стала доказывать, что Татьяна любила Онегина, а я стал противоречить:

— Если бы она любила по-настоящему, то она простила бы Евгению его ошибку и ничто не удержало бы ее разорвать все пути!

Зоя вскинула на меня грустные глаза и проговорила:

— Пропала вера в эту любовь. Что прошло, то — невозвратно...

— Неужели и вы поступили бы так же? — спросила Игнатович.

— Да. Я только не призналась бы, что все еще люблю его...

— Ну, наплевать на них! Идем погулять! — проговорила Игнатович и потянула меня за рукав.

— А вы, Зоя Сергеевна?

Зоя взглянула на меня и виноватым тоном ответила:

— Я не люблю толкаться... В другой антракт...

Я сказал глазами, что без нее не хочется, но пошел. И все время Игнатович волочила меня под руку и что-то говорила про любовь Татьяны и вообще про любовь, а я ничего не слышал и утвердительно помахивал головой, думая только о Зое и о ее загадочной фразе, брошенной мимоходом:



«Я не призналась бы, что все еще люблю его»... Что это значит? Неужели... Нет, это было бы такое невероятное счастье, что я не смею о нем и думать...

— А между нами говоря, этот Евгений просто хлыщ. Вы согласны?

— Я? Да, да...

— Скажите, откуда взялась ваша фотография у Зои Сергеевны? Разве вы...

— Мы ведь знали друг друга давно...

— Хотите обменяться со мной карточками?

— Да, очень тронут.

Игнатович пожала мою руку локтем и повлекла из фойе.

— Мы замечались: кажется, началось уже... Ах, мы мечтательны ужасно! — фальшиво протянула она и значительно взглянула в мои глаза.

Невыносимо. Только для тебя, Зоя, можно претерпевать эти испытания.

Опять рядом. Занавес еще не поднят, можно перекинуться словом.

— Как мы редко теперь видимся, Зоя Сергеевна!



— Да.

— Как я раскаиваюсь в том, что нет возврата к прошлому!

— Что ж делать!

— А вы?

— Простите, я не могу сейчас говорить об этом.

— Когда же, когда...

В этот момент взвился занавес, потух свет в зале, я наклонился к барьеру и, как к святыне, приложил свои губы к руке Зои. Она вся содрогнулась, сняла с барьера руку и вздохнула. Ничего не сказала. На сцене разочарованный Онегин уже читал нотации растерянной Татьяне, и вдруг мне показалось, что Онегин — это я, а Татьяна — Зоя. Об этом же, вероятно, думала и Зоя, потому что, когда кончилась эта картина, она обернулась в мою сторону и, печально покачивая головой, сказала:

— Хорошо, что еще счел нужным объясниться лично! А то ведь мог ограничиться письмом с отказом от руки и сердца. Впрочем, не все ли равно?.. Хотите, пойдём... Здесь душно...

Я вскочил и стал расталкивать столпившуюся в дверях публику... Кто-то обиделся и сердитым басом произнес:

— У нас собственный полицеймейстер!..

— И собственный дурак! — бросил я на эту реплику и подпал руку Зое.

— Я не хочу — в фойе. Пойдемте на лестницу, там свежее.

— Куда хотите, Зоя...

Стоим на лестнице: она — облокотилась на перила, я сбоку, не сводя с нее глаз. Так близко, близко... Как прежде! Хочу сказать, что я люблю ее сильнее прежнего, и не могу: что-то стоит между нами.

— Вы, Геннадий, сильно изменились... Вы что-то пережили и вообще какой-то другой... И я — тоже. Оба мы другие. Мне кажется, будто мы только сейчас познакомились и не знаем, о чем говорить нам между собой...

— Да, Зоя... Я пережил много... Когда-нибудь я вам скажу... А теперь я тороплюсь сказать вам одно, главное...

— Не верю... Если бы вы знали, как я вам верила... и что

вы сделали с моей верой в людей вообще!.. Впрочем, это становится похожим на оперу, которая идет на сцене... Бросим и никогда не будем к этому возвращаться. Теперь я хочу учиться, только учиться наукам...

Зоя вздохнула и опустила голову.

— Как хорошо вы говорите!.. Вы — оратор... Я до сих пор не могу опомниться от вашей речи на нашем вечере...

— Все это не важно... Я невыносимо страдаю, Зоя, от ваших холодных слов.

— Вы — оратор... умеете делать свои слова горячими, а я... погасили мои слова от... ветра... Пора! Идем! Третий звонок...

— Постоим еще! Ради Бога!

— Вы не верите в Бога...

— Ну, ради... прошлого!..

— Не понимаю вас, Геннадий. Что вы: искренно или так... между прочим?

— Вы меня глубоко оскорбляете... Я заставлю вас поверить мне, хотя бы это стоило мне...

Я не договорил и пошел прочь, покинув Зою. Я пошел в буфет и, взяв коньяку, присел к столику и стал пить рюмку за рюмкой, чтобы на что-то решиться, что-то сделать... Теперь ясно: прошлое — невозвратно и ничем его не вернешь. Не любит и не может любить... А я не могу. Я не хочу жить. Не хочу. Я хочу теперь только одного: заставить ее поверить моей честности, моей искренности и... в награду получить ее слезы над моей могилой. Да, больше у меня нет выхода.

В буфете было пусто. Буфетчик дремал за стойкой, и не надоедали лакеи. Вдали Ленский пел свою предсмертную арию, и музыка вторила ему и наполняла скорбью мою душу.

«Благословен и дня при-хо-од, бла-а-агослове-ен и...»

Да. Кончено! Завтра меня уже не будет. Мелькали мысли о старом доме, о старой матери, о Зое, стоящей около свежей могилы и рыдающей напрасными слезами... Что меня может остановить? Никто и ничто... Только она, сама Зоя... Вот если бы она пришла сюда и почувствовала, что случится этой ночью, если бы она сказала: я боюсь за тебя...

— Геннадий! Что это!..

Я поднял голову и закричал:

— Зоя!

— Что с вами, милый?.. Не надо пить. Отчего вы убежали от меня?..

— Разве вам не все равно?

— Я могла бы не прийти, Геннадий... Не пейте, я рассержусь.

— Ах, Зоя!.. Мне надо быть сегодня веселым, потому что я ухожу и...

— Если вы меня... Любите, вы...

— Я? Люблю ли я вас!.. У меня только одна возможность доказать это.

— Будет говорить глупости... Идем!..

Я посмотрел в глаза Зои и вдруг почувствовал, что светит в них ясный огонек чего-то бывшего, нежного, и зажигает душу жаждой жить, жить, жить...

— Я хочу жить, Зоя!.. Я не хочу умирать.

— Ах, какой... нехороший!.. Рано думать о смерти... нам, таким молодым!

Мы под руку вернулись в зрительный зал и под ворчливое сетование публики пробрались на свои места. Игнатович презрительно покосилась в мою сторону и проворчала:

— Это называется любить музыку...

— Прекратите болтовню! — как шмель, прогу-дел сердитый бас позади.

Мы сидели с Зоей близко друг к другу, и я не боялся прикосновений, а искал их, потому что от них лилось в душу ласковое успокоение и надежда

на возврат потерянного. Изредка украдкой Зоя взглядывала на меня, и я ловил в ее глазах прощание любящей души. И все прошло: жизнь казалась прекрасной, и чудным казался бинокль Зои, перламутровый, с ручкой... Ее бинокль, ее бинокль! Милый, родной бинокль! Как я люблю тебя, бинокль!..

Глядя на Зою, я поцеловал бинокль, а она смущенно улыбнулась и потупилась.

— Глупо! — прошептала, наклонившись ко мне Игнатович...

Конечно, я провожал дам до дому, но не удалось больше поласкать свою душу тихим разговором с белой девушкой. Опять мешала Игнатович: она влекла меня под руку и забрасывала словами о разных книгах, политических вопросах и значительных делах. Я что-то отвечал, иногда невпопад, а Зоя хохотала и, следуя позади, бросала в нас смятым в комья рыхлым, мокрым снегом. Ах, как мне хотелось бросить серьезные разговоры и, выдернув захваченную Игнатович руку, поиграть с Зоей в снежки и побегать за ней по белым снежным пустынным улицам спящего города!..

— Вот вам!

Звонко смеялась Зоя, радуясь, что снег попал мне за воротник, а Игнатович сердилась:

— Вы, Зоя, нам мешаете: мы говорим серьезно...

Когда мы распрощались и Зоя с Игнатович скрылись за дверью крыльца, я долго еще стоял около дома и не хотел уходить. Было так радостно и светло на душе, как бывало когда-то давно, около дома № 15...

— Надо идти... Ничего не поделаешь...

Я глубоко вдохнул влажный, пахнущий снегом воздух, посмотрел в звездное небо и, сняв шапку, перекрестился:

— Благодарю Тебя, Господи!

## XXIV

Памятная ночь!..

Возвращаясь поздней порой домой, я всегда заходил сперва в переулок, чтобы посмотреть, нет ли в квартире опасности: горящая на окне лампа под красным абажуром по условию с Николаем Ивановичем должна была предупреждать о неблагополучии. И на этот раз я скорей машинально, чем сознательно, зашел сперва в переулок:

— Вот тебе раз!

На окне стояла лампа под красным абажуром... Что ж теперь делать? Очевидно — обыск. Но у кого: у меня или у Николая Ивановича? Во всяком случае, идти в квартиру преждевремен-

но, это значило бы: «не спросось броду, сунуться в воду». Каждая минута свободы теперь дорога: надо прятать концы в воду. А концы — серьезные: у нас наворовано из типографии уже около полупуда шрифта. Дома у меня все в порядке, но необходимо подальше перепрятать шрифт и предупредить сотоварищей о грозящей опасности... Ну а если все-таки арестуют? Эх, Зоя! Не везет нам с тобой. Опять — разлука, и, быть может, долгая,

И вдруг тревожная радость встряхнула мне душу: можно и даже необходимо, неизбежно наше свидание сейчас же. Я не могу потерять свободу, пока не узнаю, не услышу из ее уст, что наше счастье воскресло... Я хочу на прощанье услышать на ухо: «Милый, родной, люблю тебя»... А потом извольте: обыскивайте, берите, сажайте и так далее.

Я вышел из переулка и, перейдя на противоположную сторону улицы, деловой беспечной походкой направился мимо нашего дома. У ворот — полицейский: зловещий признак; подальше — три извозчика и ночной караульщик — тоже ничего хорошего... Голоса, ведут кого-то... Уселись и едут, обгоняя меня. Неприятное, черт возьми, ощущение: лучше поднять воротник. Отлично: проехали! Так и есть: на среднем извозчике рядом с жандармом, словно давнишние знакомые, бедняга Николай Иванович; жандарм слегка поддерживает его за талию, словно кавалер — даму...

— Прощай, брат!.. Все там будем!.. А домой я сейчас все-таки не пойду. Не дурака нашли: там, конечно, засада, попадешь, как кур во щи...

В общем, скверно. Почему же радостно бегут ноги? Зоя, Зоя, Зоя, сейчас я увижу тебя и без слов пойму, вернулось ли «невозвратное»...

У них еще огонек. Пройду двором, спокойнее. Звонка нет. Тревожно стучу в железную скобку двери. Ну наконец-то!..

— Кто там?

— Свои! К... Игнатович.

— Да они никак полегли уж.

— Нет, у них огонь.

— Сейчас скажу. Как про вас сказать?..

— Студент, который провожал их из театра.

— Ладно!..

Жду, весь насыщенный тревожным волнением от случившейся беды, значительности своего посещения и неизбежной встречи с любимой девушкой... Идут...

— Вы, Геннадий Николаевич?

— Да.

— Что случилось?

Приоткрылась дверь, мелькнуло освещенное огнем свечи лицо Веры Игнатович.

— У нас «гости»! Николай Иванович приказал кланяться, а я пока в бегах. Необходимо поговорить. Нужна помощь.

— Идите!.. Переждите в кухне... Зоя приведет себя в порядок...

Игнатович ушла. Я нетерпеливо ждал, когда меня позвуч, и чувствовал неловкость от сердитого ворчания кухарки, которая скрипела из темного угла:

— Неужели самовар опять?.. Спокою нет от самоваров ваших...

— Спице, спице!.. Никаких самоваров не требуется...

— Уснешь с вами!..

— Геннадий, можно!..

Вхожу за Игнатович в комнату и прежде всего встречаю глаза Зои, большие, горящие испугом глаза под накинутой на голову шалью. Она сидит на кровати, неподвижная, с тревожным вопросом во всей фигуре.

— Скверно, господи!.. Николай Иванович взят, я — последняя ночь на воле...

— Боже мой! — прошептала Зоя и, вскочив с кровати, села рядом со мной и прижалась, вздрагивая плечами и кутаясь в шаль.

— Что же делать, Геннадий?..

Игнатович злобно посмотрела на Зою и огрызнулась:

— Сидите уж... Без вас обойдутся...

Зоя встала и вздрогнувшим голосом произнесла:

— Может быть, я здесь лишняя?.. Я могу уйти...

— Нет, Зоя! Мне необходимо сказать вам...

— Может быть, я — лишняя? — вызывающе спросила меня Игнатович.

— Вас, Игнатович, я попросил бы на несколько минут...

— Извините... эта комната принадлежит не одной Зое, а нам обеим...

Зоя как-то сжалась, и наступила тяжелая минута общего замешательства...

— Мне надо, Зоя Сергеевна, поговорить с вами относительно... Надо сообщить моей матери и потом еще сделать кое-какие распоряжения... вроде духовного завещания... Простите, Игнатович, если я нарушил ваши права на комнату, но...

— Теперь ночь. Никуда я не пойду из своей квартиры...

— Я вас и не прошу об этом... Я прошу вас, Зоя!.. Пойдемте и немного погуляем и поговорим... Потом я вас провожу... Полчаса какие-нибудь...

— Хорошо... Я — сейчас. Подождите меня у ворот...

Я молча кивнул головой и тихо пошел вон. Когда я в полутьме искал в кухне калоши, в тишине ночи мне почудился сдерживаемый плач. Что такое? Кто это плачет? Зоя?.. Нет, она что-то говорит. Неужели Игнатович!.. О чем? Чем я ее так разобидел?.. Ах, да черт с ней!..

Я прохаживался около ворот и думал, что я скажу Зое. Сказать надо много-много, а все слова убежали. Осталось только одно: люблю и хочу услышать только это же слово из твоих уст. Не умею начать... Помоги, Господи! Идет она... Тревожно поскрипывает снежок под ее торопливыми шагами. Забилось сердце, и трудно вздохнуть...

— Как тихо! — сказала Зоя, остановившись около меня, и потупилась...

— Мне показалось, что у вас кто-то плачет... Пойдемте!..

— Вы, Геннадий, жестокий человек... Неужели вы не видите, что Вера любит вас?

— Я просто не могу и не... хочу, Зоя, этого видеть. Я ее ненавижу.

— За что?

— Не знаю. Может быть, за то, что она... плачет...

— Любит?

— У нас так мало времени... Бог с ней!.. Я пришел только к вам.

Я хотел перейти к делу, но говорил совсем не то, что хотелось. Я начал давать ей совсем ненужные поручения, которые мог исполнить любой мой товарищ: написать и успокоить старуху мать; если меня арестуют — сходить к матери Николая Ивановича и сказать ей, чтобы не беспокоилась за мои показания при допросах, а комнату — сдавала, не дожидаясь моего освобождения; просил Зою еще о чем-то... Она волновалась, переспрашивала, боясь что-нибудь не понять, или позабыть, или сделать не так, как надо. Она дорожила каждым моим словом, каждым жестом, каждым взглядом. А голосок ее вздрагивал все сильнее, и в глазах была тоскливая растерянность... Мы шли все дальше, вперед, сами не зная куда... Вышли за город и очутились на дороге, ведущей к кладбищу. Тишина была вокруг удивительная. Вчера весь день шел пушистый снег, и теперь хаос покрытых чистым снегом домовых крыш весь город превратил в сказочный, сделанный из снега, а все деревья, на которых осел и застыл сырой туман, — в фантастические искусственные растения из белых пышных кружев...

— Последняя ночь на свободе!.. — прошептал я после долгой паузы, когда ничего больше не мог придумать для поручения Зое.

Я почувствовал, как под моей рукой вздрогнула рука Зои, и спросил:

— Вам не будет меня... недоставать?..

— Но ведь это, Геннадий, неизбежно... Такие люди должны страдать... Им надо любить свои страдания, иначе... Помните, как вы говорили тогда, на нашей вечеринке, в своей речи!.. Я ведь пока только хочу сделаться такой, а... вот Вера... она вам ближе.

— Нет, Зоя, вы мне самый близкий человек, потому что... я люблю вас.

— Вы, Геннадий, никому еще... никому другому не говорили этого?

— Вы, Зоя, все еще не верите мне?..

Прошло несколько минут, ужасных для меня минут: я должен был сказать правду, мучился этой правдой и боялся ее сказать: мне казалось, что она разобьет вдребезги хрустальное сердце этой белой девушки, похожей на молодую березку в снежных кружевах. Так и не сказал я ей страшной правды про черную женщину. И когда я поднял опущенную голову, Зоя отвернулась и стала отирать платком слезы...

— Зоя Сергеевна!..

— Не смотрите!.. Не надо... Вы — жестокий!.. Можете возненавидеть меня за эти слезы, как случилось с Верой...

— Зоя, милая!.. О чем?..

— Да неужели вы не понимаете!.. Неужели вам надо еще говорить!..

Я схватил ее руки в перчатках и стал целовать.

— В перчатках! В перчатках! — смеясь сквозь слезы, закричала Зоя и стала вырывать руки, а когда вырвала, взяла меня под руку, спрятала лицо в муфту и прошептала:

— Как мне жаль бедную Веру!.. Она тебя так любит... Ты — жестокий...

— Воскресло? Да?

— Да.

— Все?

— Все...

— Поцелуй!

— Ах, какой ты... Зачем это?.. Ведь знаешь уж...

Но я не соглашался, что это — лишнее, и боролся с мохнатой муфтой, которая прятала от меня щеки и губы...

— Какой ты... нехороший!..

— Любишь?..

— Не спрашивай же!

— Не забудешь, когда меня спрячут в каменный мешок?

— Н... не знаю.

Замолчали. Идем дальше. Скользят ноги по накатанной дорожке. Где-то лает одинокая собака. Надо бы назад, в город, но там — разлука и тоска. Уйти бы куда-нибудь далеко-далеко, чтобы никого не видеть и ничего не знать и только любить эту кроткую, застенчивую девушку.

— Куда же мы... Этак зайдем на край света...

— Что ты говоришь, Зоя? На край света!..

Вздрогнуло сердце... «На край света»!.. Всплыло в памяти что-то страшное, чего я боюсь и что скрываю. Старый, хмурый бор, избушка, занавешенное красным окно, и зарницы молнии под грохот перекатывающегося по лесу грома. Кровь прилила к лицу, и захотелось броситься на колени, прямо в снег и, целуя ноги белой девушки, просить прощения...

— Скажи... мне правду... Геннадий!

— Что? Какую правду?!

— Ты... не говорил Вере, что любишь ее?

— Ах, ты опять о Вере!.. Нет, не говорил...

— Ну, слава Богу!.. Что это? Кладбище!.. Нет, нет. Пойдем назад...

— Ты испугалась?..

— Неприятно... Хочу жить... быть счастливой...

Теперь ты... не разлюбишь?

— Верь!

— Ты любишь всех людей и за всех хочешь страдать. Если бы я научилась так же...

— Ты умеешь!..

— Нет! Есть на свете один человек, которого я...

Голубка! Опять покраснела и спрятала смущенное лицо в муфту... Мы шли к городу медленно, нехотя, и оба становились грустнее по мере приближения к дому. словно подходили когда-то к пристани, где Зоя должна была слезть с парохода прошлой весной.

— Ты придешь ко мне на свидание в тюрьму?..

— Конечно, родной, приду!.. Но пустят ли меня?..

— Когда кончатся допросы, пустят. Но для этого надо назваться невестой... Ты на это согласишься?

— Да...

— И это не будет обманом... для удобств?

— Нет. Это будет... моей правдой!.. Я никогда не боюсь... Теперь мне все равно...

— А если меня ушлют куда-нибудь далеко, ты...

— Значит — и меня тоже!..

— Ты будешь моей женой?

— Да.

Сказала «да» так просто и посмотрела с печальной, доверчивой улыбкой прямо в глаза.

— Ну... Прощай!.. погоди, я сперва тебя... Я хочу перекрестить тебя. Ты не веришь, а я все-таки хочу... Я верю!..

Три раза она перекрестила меня, сказала: «Иди, с Господом!» и, упав на грудь, расплакалась, как маленькая девочка...

— Прощай!..

— Христос с тобой... Будь здоров и... не грусти!

Ушла. Господи, какое счастье любить тебя и быть тобою любимым!..

— Ну, а теперь за дело!..

И всю ночь до рассвета мы с Касьяновым трудились над сокрытием в безопасные места нашей нелегальной библиотеки и наворованного в типографии шрифта. А когда благополучно окончили эту тревожную работу, то расцеловались и разошлись...

— Извольте, я готов... ищите, берите, сажайте!..

И я решительно и спокойно зашагал к дому...

Продолжение следует.